



Кирилл Борджия

Коллекция

18+

Кирилл Борджия

Коллекция

<https://litres.ru/74661177>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он фотограф без имени. У него есть правило: он не снимает татуировки и не любит выбритость — только живое, естественное, женственное. Но к нему приходят разные: балерина, которая разучилась чувствовать себя женщиной; многодетная мать, забытая мужем; беременная с чужой тайной; бывшая пловчиха, считающая своё тело мальчишеским; воцерковлённая жена, которая боится собственного тела; бизнес-леди, уставшая быть сильной.

Он не утешает. Не советует. Не жалеет. Он просто снимает — и в объектив попадает то, что женщины прятали годами: стыд, вина, страх, запрет, первое расслабление и тихое, позднее принятие себя.

Четырнадцать историй. Четырнадцать тел. Четырнадцать откровений — без пошлости, но предельно честно.

Содержание

Стекло	5
Полнота	18
Коса	30
Сорок	40
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Кирилл Борджия

Коллекция

Стекло

I

Театр умирал медленно, как умирают старые актёры — не сразу, а по частям: сначала осыпалась позолота с лож, потом выцвели бархатные портьеры, потом кто-то вынес медные ручки с дверей, и на их месте остались тёмные дыры, похожие на выбитые зубы. К тому августу, когда Вера впервые переступила его порог, здесь уже не давали спектаклей лет двадцать. В фойе пахло пылью и мышами, а из-под купола, где когда-то висела хрустальная люстра, тянуло сквозняком и голубиным помётом.

Он ждал её в бывшем репетиционном зале — том самом, с зеркальной стеной, где когда-то занимались балерины. Зеркала были старые, в тяжёлых рамах, и одно из них, крайнее, треснуло от пола до середины — трещина шла наискось, как молния, и в ней двоилось всё, что в ней отражалось.

Он слышал её раньше, чем увидел: не шаги, а дыхание. Ровное, глубокое, слишком правильное для обычного человека — так дышат те, кого учили дышать с детства. Потом в проёме двери появилась тень, и тень оказалась высокой, тонкой, с прямой спиной и чуть отставленным локтем, будто

она всё ещё несла на нём невидимый поднос.

— Вера, — сказала она и не протянула руку. — Я вам звонила.

Он кивнул и указал на табурет у стены. Она села — не как садятся, а как опускаются: точно, экономно, не потревожив ни одного лишнего мускула. На ней было просторное льняное платье цвета топлёного молока и босоножки на низком каблуке. Волосы, тёмно-русые, тяжёлые, она собрала в низкий узел, но несколько прядей уже выбились и липли к шее — вечер был душный, августовский, с той густой предгрозовой духотой, от которой тело становится чужим и липким.

— Я не люблю фотографироваться, — сказала она ровно. — Но мне сказали, что вы умеете... не врать.

— Я не умею врать, — ответил он. — Это правда.

— Хорошо. — Она посмотрела мимо него, на треснувшее зеркало. — Тогда сразу договоримся: только профиль. Или силуэт. Лицо — вполоборота. Никакой... — она чуть запнулась, подбирая слово, — никакой откровенности.

— Откровенность бывает разная, — сказал он.

— Мне не нужна никакая.

Он не стал спорить. Он вообще редко спорил с моделями. Он снял с плеча сумку, начал неторопливо раскладывать аппаратуру, и в этой неторопливости было что-то успокаивающее, почти врачебное. Вера сидела на табурете, выпрямившись в струну, и смотрела, как он работает, — так смотрят на поезд, с которым ещё не решил, уедешь ты или нет.

II

Ей было двадцать восемь, и она была красива той особенной, чуть несовременной красотой, которая не бросается в глаза, но от которой трудно отвести взгляд. У неё были длинные, очень длинные ноги — не просто длинные, а выточенные, с той линией икры, которую не сделаешь в спортзале, потому что её делает только станок и тысячи подъёмов на полупальцы. Бёдра мягкие, чуть тяжёлые в верхней части — не костлявые, а живые, женственные, с той округлостью, которая появляется у танцовщиц, когда они перестают танцевать каждый день, но ещё помнят, как это делается. Грудь небольшая, аккуратная, с высокими сосками цвета незрелой вишни. Живот плоский, но не впалый, с тонкой линией мышц, уходящей под резинку трусов. И кожа — удивительная, матовая, без единого изъяна, без единой татуировки, без единой родинки на видном месте, будто её вылепили из тёплого воска и забыли поставить клеймо.

Она была из тех женщин, которых природа одаривает щедро, но при этом оставляет в них что-то строгое, почти монастырское, — и это «что-то» было в ней сильнее всего. В том, как она держала подбородок, как складывала руки на коленях, как говорила — короткими, законченными фразами, будто отдавала команды самой себе.

— Начнём, — сказал он.

Она встала, и он увидел, что она не просто встала — она *поднялась*, всем телом, от стопы до макушки, как поднимаются на пуанты, хотя была босиком. Платье скользнуло по бёдрам и опало.

— Мне раздеться? — спросила она, и в голосе не было ни кокетства, ни стыда — только деловая необходимость, как будто спрашивала, снять ли пальто.

— Как вам удобно.

Она отвернулась к стене — не к нему, к стене, — и он услышал шорох ткани, тихий стук пуговиц о дерево, потом шелест, будто осыпался песок. Когда она повернулась, на ней остались только белые хлопковые трусы, и она стояла, опустив руки, прямая, как свеча, и смотрела в треснувшее зеркало, а не на него.

— Так, — сказала она. — Только профиль.

Он поднял камеру.

III

Первые кадры были мёртвые. Он это видел даже не по экрану, а по тому, как она стояла. Вера умела держать тело — это было видно сразу, — но это было тело, которое держат в узде. Каждый её мускул работал на то, чтобы ничего не выдать: плечи развёрнуты, лопатки сведены, живот втянут, подбородок чуть приподнят. Она позировала так, как, наверное, стояла в строю кордебалета, — идеальная, безличная,

готовая к тому, что её пересчитают и поставят в третий ряд.

— Повернитесь в профиль, — попросил он.

Она повернулась. Свет из высокого окна падал на неё сбоку, и он увидел линию её спины — от шеи до копчика — как изгиб скрипки. Тонкая талия, чуть обозначенные позвонки, мягкий переход в бёдра. Это была красивая спина. Но она была напряжена так, будто Веру привязали к невидимой стене.

— Расслабьте плечи.

— Они расслаблены.

— Нет. — Он опустил камеру. — Вы держите их так, будто под ними гвозди.

Она чуть дёрнула уголок рта — не улыбка, а гримаса.

— Я тринадцать лет так стою. Это не расслабляется.

— Расскажите, — сказал он и снова поднял камеру, чтобы она не видела, что он слушает.

И она рассказала — коротко, отрывисто, глядя в треснувшее зеркало, а не на него. О том, как в шесть лет её привели в балетную школу, потому что она была длинная и «с хорошей стопой». О том, как в одиннадцать она перестала расти, и это было счастьем, потому что высоких не берут в кордебалет. О том, как в семнадцать она танцевала первый раз на большой сцене и плакала в кулисе от счастья, а на следующий день её поставили в третий ряд, и она поняла, что счастье — это когда тебя видно. О том, как в двадцать три она получила первую сольную партию, а в двадцать пять у неё

начались боли в стопе, а в двадцать шесть — в спине, и врач сказал: «Это не травма, это износ». О том, как она перестала спать, потому что во сне продолжала считать такты, и как в двадцать семь поняла, что, глядя в зеркало репетиционного зала, видит не себя, а ошибку: поднятое плечо, недотянутый носок, слишком тяжёлый подбородок.

— И тогда я ушла, — сказала она. — Просто перестала ходить. Никому ничего не объяснила. Мне звонили, а я не брала трубку.

— Почему?

— Потому что я не могла объяснить, что я больше не хочу быть телом, которое оценивают.

Она замолчала. Он сделал несколько кадров, пока она говорила, — не для того, чтобы поймать её врасплох, а потому что в эти секунды её плечи наконец опустились.

IV

— Теперь снимите трусы, — сказал он спокойно, и это прозвучало не как приказ, а как продолжение разговора.

Она замерла. Не вздрогнула, не покраснела — просто замерла, как замирают перед прыжком.

— Я думала, мы договорились.

— Вы договорились. Я — нет.

— Это нечестно.

— Это честно, — сказал он. — Вы пришли сюда не за

силуэтом. Силуэт у вас есть в каждом зеркале. Вы пришли за тем, чтобы кто-то увидел вас целиком и не отвёл глаз.

Она долго молчала. Потом медленно, не отворачиваясь на этот раз, спустила трусы и переступила через них, и осталась стоять в пыльном свете августовского вечера, голая, прямая, с руками, опущенными вдоль тела.

И он увидел её всю.

У неё был не тот гладкий, выбритый до блеска лобок, который теперь считается приличием. У неё была аккуратно подстриженная, но живая растительность — тёмный, мягкий треугольник, чуть курчавый, с ровной нижней линией, будто её подравнивали ножницами, а не бритвой. Это было так просто и так по-женски, что он на секунду задержал дыхание. В этой детали было больше интимности, чем в любой наготы: она как будто говорила — вот я, не притворяюсь, не прихорашиваюсь под чужой вкус, я такая, какая есть. И от этого её тело сразу стало не журнальным, а настоящим — тёплым, живым, пахнущим кожей и чуть-чуть — потом, потому что август и потому что она волновалась.

Он поднял камеру.

V

Она стояла в центре зала, и пыль плавала в косом свете, и одно зеркало отражало её спину, а другое, треснувшее, — половину лица и половину бедра, и в трещине её тело двои-

лось, как в дурном сне.

— Повернитесь к зеркалу, — сказал он.

Она повернулась. И увидела себя.

Это было не то зеркало, в котором она привыкла проверять линии. Оно было старое, с потемневшим амальгамовым слоем, и в нём её отражение казалось чуть размытым, будто сквозь воду. И в этом отражении она вдруг увидела не ошибку, не недотянутый носок и не тяжёлый подбородок, а женщину. Высокую, с длинной шеей, с мягкими бёдрами, с тёмным треугольником внизу живота и руками, которые она не знала, куда деть, — и это было самое живое в ней, эти руки, потому что все её прежние позы были придуманы, а эта растерянность — нет.

Он щёлкнул затвором.

И тут её лицо дрогнуло.

Сначала он подумал, что это игра света. Но нет — уголок рта пополз вниз, и подбородок задрожал, и она подняла руку, чтобы прикрыть глаза, но не успела: слёзы пошли сразу, обеими щеками, крупные, частые, и она заплакала так, как плачут люди, которые очень давно не плакали, — без всхлипов, без вздохов, просто стоя и глядя в зеркало, а слёзы текли и текли, и одна капля упала на грудь и покатилась вниз, оставляя блестящую дорожку.

Он не опустил камеру.

Он не подошёл, не сказал «ну что вы», не протянул платок. Он снимал. Он снимал, как её плечи вздрагивают, как

она кусает губу, как рука медленно опускается от лица и ложится на живот — не прикрывая, а будто проверяя, что он на месте, что это её тело, живое, тёплое, никуда не делось. Он снимал, как она делает шаг к зеркалу, потом ещё один, и прижимается лбом к холодному стеклу, и стоит так, и дышит на него, и стекло туманится, и в этом тумане её отражение становится совсем мягким, почти неразличимым.

— Я думала, — сказала она в стекло, — что я больше никогда не смогу... вот так. Просто стоять и не думать, как я выгляжу.

— И как? — спросил он.

— Не знаю. — Она засмеялась сквозь слёзы, коротко, некрасиво. — Странно. Как будто я себя простила.

VI

Она отстранилась от зеркала, и на стекле остался мокрый след — полукруг, как от поцелуя. Она вытерла лицо тыльной стороной ладони, и он увидел, что она уже не та, что была час назад: что-то в ней сломалось и встало на место, как вывихнутый сустав, который вправили. Плечи опустились. Дыхание стало глубже.

— Что теперь? — спросила она.

— Теперь — то, зачем вы пришли.

Он подошёл и поправил прядь у её виска — не для кадра, а просто так, и она не отстранилась. Она смотрела на него

снизу вверх — она была почти одного с ним роста, но сейчас смотрела снизу, потому что впервые за много лет не держала спину, — и в её глазах было то, чего он ждал: не благодарность, не страх, а голод. Голод человека, который слишком долго жил на пайке.

— Я не умею, — сказала она. — Я разучилась. Я всё делаю по команде. Скажите мне, что делать.

— Ничего, — сказал он. — Просто стойте.

Он снял с неё остатки заколок, и волосы упали ей на плечи — тяжёлые, тёмные, они легли на грудь и на спину, и она вдруг стала другой, мягче, будто с неё сняли форму. Он провёл ладонью по её плечу — просто провёл, легко, — и она вздрогнула так, как не вздрагивала, когда он просил её повернуться: это был не испуг, а отклик, как у струны, к которой прикоснулись после долгого молчания.

Она закрыла глаза.

Он снимал её закрытые глаза, её приоткрытые губы, её руку, которая сама поднялась и легла на грудь — не для него, для себя, — и то, как она провела ладонью по животу, медленно, будто вспоминая дорогу. Пыль кружилась в свете. Где-то наверху ворковал голубь. Зеркало отражало её спину — ту самую линию от шеи до копчика, которая час назад была натянутой, как тетива, а теперь изогнулась мягко, женственно, с той естественной впадинкой в пояснице, которая бывает у женщин, когда они перестают втягивать живот.

Она открыла глаза.

— Можно, — сказала она, и это был не вопрос.

Она взяла его руку и положила себе на бедро — чуть выше колена, там, где кожа особенно тёплая и гладкая. Он почувствовал под ладонью её мышцу — сильную, тренированную, но сейчас расслабленную, — и то, как она подалась навстречу, всем телом, не стыдясь, не рассчитывая, а просто потому, что тело вспомнило, для чего оно нужно.

Он не убрал руку. Он снимал одной рукой, а другой держал её бедро, и она стояла, голая, в пыльном луче света, с растрёпанными волосами и мокрыми ресницами, и дышала всё глубже, и на шее у неё билась жилка, и это было красивее всего, что он снимал за последний год.

VII

Потом она села на пол — просто села, по-турецки, как сидят дети, — и засмеялась.

— Господи, — сказала она. — Я двадцать лет не сидела на полу.

Он сел напротив неё, положил камеру на колено. В зеркалах их было двое, и в треснувшем — четверо, и все они сидели в пыли и молчали.

— Вы знаете, что самое страшное? — сказала она, глядя на своё отражение. — Не возраст. Я не боюсь морщин. Я боюсь, что однажды посмотрю на себя и не увижу ничего. Ни желания, ни стыда, ни радости. Пустоту. Как в раздевалке

после спектакля, когда все ушли, а ты сидишь и не можешь встать.

— И что сейчас?

Она посмотрела на себя — долго, внимательно, без жалости и без кокетства, как смотрят на человека, с которым давно не виделись и о котором не знают, друг он или враг.

— Сейчас вижу, — сказала она. — Женщину. Уставшую. Но живую.

Она подняла глаза на него.

— Спасибо, что не пожалели.

— Я не умею жалеть, — сказал он. — Это правда.

— Я знаю. — Она улыбнулась — впервые за вечер по-настоящему, и улыбка у неё была хорошая, тёплая, чуть кривая. — Поэтому и пришла.

VIII

Она оделась не спеша, не прячась и не позируя, — просто натянула трусы, потом платье, потом собрала волосы, и когда она закалывала их перед треснувшим зеркалом, то делала это уже иначе: не проверяя линию, а просто закалывая. Он снимал и это — её затылок, её поднятые руки, её спину под льном.

— Когда будут фотографии? — спросила она у двери.

— Через неделю.

— Пришлите все. Даже те, где я плачу.

— Даже те, где вы плачете, — повторил он.

Она задержалась в проёме. За её спиной был длинный коридор с облупившейся краской, и она стояла в этом коридоре, высокая, прямая, но уже не как солдатик, а как женщина, которая знает, что у неё есть спина, бёдра и лицо, и что всё это — её.

— Знаете, — сказала она, — я думала, что пришла попрощаться с телом. А вышло, что я с ним познакомилась.

Она ушла. Шаги её были слышны ещё долго — мягкие, босые почти, хотя она была в босоножках. Потом хлопнула тяжёлая дверь, и в зале стало тихо, и пыль снова легла ровным слоем на пол.

Он посмотрел на камеру. На последнем кадре была трещина в зеркале — та самая, наискось, — и в ней, раздвоенное, отражалось что-то тёплое, живое, с длинной шеей и распущенными волосами.

Он не стал его удалять.

Полнота

I

Квартира пахла борщом и стиральным порошком — тем особенным, ни с чем не сравнимым запахом дома, где живут дети. В прихожей стояли четыре пары сменной обуви, выстроенные по росту, как солдатики; на вешалке висели куртки — красная, синяя, зелёная и совсем маленькая, розовая; а на полу лежал коврик с нарисованным котом, у которого дети давно оторвали хвост.

Ольга открыла дверь и сразу начала извиняться.

— У нас тут... — она обвела рукой прихожую, будто извинялась за всё сразу: за обувь, за куртки, за кота без хвоста. — Я не успела убрать. Дети в школу убежали, а я думала, вы попозже... Ой, да вы проходите, проходите, не разувайтесь, у нас полы всё равно... — она махнула рукой и засмеялась, коротко и чуть испуганно, — ...всё равно уже.

Ей было тридцать пять, и она была из тех женщин, которых природа лепит щедро, без оглядки на моду. Высокая — почти одного роста с ним, — она была мягкая вся, от плеч до колен, с той округлостью, которая не является полнотой в дурном смысле слова, а является женственностью в самом

старом, самом простом его значении. Большая грудь, тяжёлая, чуть обвисшая после трёх детей, но всё ещё красивая, с крупными тёмными сосками, которые проступали сквозь тонкий трикотаж домашнего платья. Широкие бёдра. Живот мягкий, с той нежной складочкой внизу, которая появляется у женщин, рожавших и не гоняющихся за плоским прессом. Руки полные, с ямочками на локтях. И лицо — круглое, румяное, с мелкими морщинками у глаз, которые делали его не старым, а каким-то очень домашним, будто она всю жизнь улыбалась над кастрюлями.

На ней было простое платье цвета спелой вишни, длиной до колена, и оно сидело на ней так, как сидят вещи, купленные не для того, чтобы нравиться, а для того, чтобы было удобно. Волосы — каштановые, густые, с проседью у висков, которую она не закрашивала, — были собраны в небрежный пучок на затылке. И ни одной татуировки. Ни одной. Кожа у неё была чистая, светлая, с редкими веснушками на плечах, будто кто-то брызнул на неё чаем и забыл вытереть.

— Я, честно говоря, не знаю, зачем я пришла, — сказала она, когда он разулся и прошёл в комнату. — Мне подруга дала ваш номер. Сказала: сходи, Оль, а то ты как... — она запнулась, — как мебель.

Она сказала это и сразу засмеялась, но смех вышел невесёлый.

— Как мебель? — переспросил он.

— Ну да. — Она пожала плечами. — Стою в углу, на меня

никто не смотрит, все об меня спотыкаются.

II

Комната была обычная — диван, телевизор, ковёр, шкаф с посудой за стеклом. На стенах — детские рисунки в рамках, фотографии из садика, грамоты за конкурс чтецов. На диване лежал плюшевый заяц с оторванным ухом. На подоконнике — три горшка с геранью, все три цвели.

— Вот, — сказала она, обводя рукой комнату, и опять засмеялась. — Студия. Лучше не бывает.

— Бывает, — сказал он. — Но и эта подойдёт.

Он начал раскладывать аппаратуру, а она стояла в дверях, переминаясь с ноги на ногу, и он видел, как она нервничает: то поправит пучок, то одёрнет платье, то потрогает серёжку — маленькую, золотую, в виде сердечка.

— Мне раздеться? — спросила она наконец, и голос у неё сорвался.

— А вы как думаете?

— Я думаю, что я сошла с ума, — сказала она честно. — Мне тридцать пять лет, у меня трое детей, и я стою тут и спрашиваю у незнакомого мужчины, раздеваться ли мне. — Она засмеялась, и на этот раз смех был настоящий, звонкий, немного истерический. — Муж бы меня убил.

— А муж знает?

— Муж ничего не знает. — Она поджала губы. — Муж

считает, что я — это борщ и чистая рубашка. Он меня не то что голой — он меня одетой-то не видит.

Она замолчала. Потом вздохнула, и вздох был такой глубокий, что грудь под платьем поднялась и опустилась, и он невольно проследил за этим движением, и она это заметила — и покраснела, и отвела глаза.

— Ладно, — сказала она. — Была не была.

III

Она разделась неловко, как раздеваются женщины, которые давно не раздевались ни перед кем, кроме мужа, а перед мужем — так, чтобы не привлекать внимания. Она отвернулась, стянула платье через голову, и он увидел её спину — широкую, мягкую, с глубокой ложбинкой вдоль позвоночника, с двумя ямочками над поясницей. Потом она расстегнула лифчик — не глядя, привычным движением, как расстёгивают его каждый вечер, — и грудь вывалилась из чашек с той тяжёлой, полной колыхнувшейся мягкостью, от которой у него перехватило дыхание.

Она не повернулась. Она стояла спиной, прикрывая грудь руками, и плечи у неё дрожали.

— Я не могу, — сказала она в стену. — Я не могу повернуться.

— Можете.

— Нет. — Она мотнула головой. — Вы не понимаете. У

меня... у меня всё не так. У меня живот. У меня грудь обвисла. У меня... — она запнулась, — у меня там всё небритое.

— Как «небритое»?

— Ну... — она понизила голос, будто говорила неприличность. — Не гладко. Я подстригаю, но не брею. Мне так удобнее. Но я думала, вы скажете...

— Ничего я не скажу, — сказал он. — Повернитесь.

Она повернулась.

И он увидел её всю — такую, какой она была: полную, мягкую, тёплую, с большой грудью, которая тяжело легла, освободившись от лифчика, с сосками, которые напряглись не от холода, а от стыда и ещё чего-то, чему она сама боялась дать имя; с мягким животом, который она тут же попыталась втянуть, но он сказал «не надо», и она не послушалась, а потом всё-таки отпустила; с широкими бёдрами и полными ногами, которые тёрлись одна о другую вверху; и с тем самым — аккуратным, подстриженным, но живым, тёмным, курчавым треугольником внизу, который она так стеснялась.

Трусы она снимать не стала. Стояла в них — белых, хлопковых, простых, — и смотрела на него так, как смотрят на судью.

— Ну? — сказала она. — Ну и как?

— Хорошо, — сказал он. — Очень хорошо.

— Вы врёте.

— Я не умею врать.

Она посмотрела на него — недоверчиво, исподлобья, —

и вдруг улыбнулась, и улыбка у неё была хорошая, тёплая, немного растерянная.

— Знаете, — сказала она, — вы первый мужчина за десять лет, который сказал мне «хорошо». Муж говорит: «Нормально». Или ничего не говорит.

IV

Первые кадры опять были скованные. Она стояла, как на приёме у врача, — руки по швам, ноги вместе, живот втянут, плечи приподняты.

— Расслабьтесь, — сказал он.

— Я расслаблена.

— Вы стоите, как будто ждёте укола.

— А может, я и жду. — Она фыркнула. — Знаете, я последний раз фотографировалась, когда младшему было два года. В фотоателье. На документы. Там тётенька сказала: «Голову прямо, плечи опустить, не улыбаться». Вот с тех пор я так и стою.

Он опустил камеру.

— Расскажите, — сказал он. — Как вы живёте?

— Как я живу? — Она задумалась. — Ну как. Встаю в шесть. Варю кашу. Бужу старшего, потом среднюю, потом младшего. Собираю всех, выпроваживаю. Мою посуду. Иду в магазин. Готовлю. Мою полы. Забираю младшего из садика. Проверяю уроки. Готовлю ужин. Купаю. Читаю книжку.

Укладываю. Потом мою посуду, достаю из стиральной машины, развешиваю. И в одиннадцать падаю. И так каждый день.

— А муж?

— А муж приходит в восемь, ужинает и садится в телевизор. — Она сказала это без злобы, ровно, как говорят о погоде. — Он хороший. Он не пьёт, не гуляет. Он просто... — она поискала слово, — ...он просто забыл, что я женщина. Понимаете? Он видит хозяйку. Мать. А женщину — не видит. Я и сама её уже не вижу.

Она замолчала, и он сделал несколько кадров, пока она говорила, — и на этих кадрах она была другой: плечи опустились, живот отпустило, лицо стало мягче.

— А вы? — спросила она вдруг. — Вы видите?

— Вижу, — сказал он.

— Что?

— Женщину.

Она посмотрела на него — долго, недоверчиво, — и вдруг покраснела, по-настоящему, до корней волос, и это было так неожиданно и так хорошо, что он нажал на затвор.

— Ой, — сказала она. — Вы меня поймали.

— Поймал.

V

Постепенно она оттаяла. Сначала начала шутить — неловко, с самоиронией, — потом шутки стали смелее, потом в

них появилось кокетство, то самое, которое женщина достаёт из дальнего ящика, как старое платье, и с удивлением обнаруживает, что оно ещё в пору.

— А так? — спросила она, повернувшись вполоборота и положив руку на бедро. — Так лучше?

— Лучше.

— А так? — Она приподняла грудь ладонями, и тут же испугалась, и опустила руки. — Ой, нет, это глупо.

— Не глупо. Повторите.

Она повторила — уже смелее, — и на этот раз не испугалась, и в глазах у неё загорелось что-то озорное, почти девчоночье.

— А знаете, — сказала она, — я в молодости была ничего. У меня женихов было — не счесть. Я на танцы ходила в синем платье, и у меня талия была вот такая. — Она показала руками. — А потом дети, дети, дети... и всё. И я думала, что та женщина в синем платье умерла.

— Она не умерла.

— Вы думаете?

— Я вижу.

Она засмеялась — уже совсем по-другому, легко, — и вдруг потянулась, всем телом, как кошка, и грудь её качнулась, и живот мягко округлился, и она сама на это посмотрела, и не стала втягивать, и улыбнулась.

— Слушайте, — сказала она, — а ведь это, оказывается, приятно. Когда на тебя смотрят.

— Приятно.

— Я и забыла. — Она покачала головой. — Я думала, это только для молодых. А оказывается — и для меня тоже.

VI

Он попросил её сесть на пол, у окна, и она села — тяжело, мягко, — и свет упал на неё сбоку, и он увидел, как он ложится на её плечо, на грудь, на живот, на бедро, — и она была в этом свете тёплая, как хлеб.

— Знаете, что я вам скажу, — сказала она, глядя в окно. — Я ведь пришла не для того, чтобы вы мне сказали, что я красивая. Я пришла... — она запнулась, — я пришла проверить, живая ли я ещё.

— И что?

— Живая. — Она засмеялась. — Вот сейчас, когда вы снимаете, я чувствую, что живая. У меня даже... — она покраснела, — у меня даже мурашки. Как в восемнадцать лет.

Она помолчала. Потом посмотрела на него — прямо, открыто, без всякого кокетства.

— Можно я вас попрошу?

— Попросите.

— Снимите меня... — она замялась, подбирая слова, — ...не как маму. Не как хозяйку. Не как «нормально». А как женщину. Чтобы я потом смотрела и видела не тётку с борщом, а... — она не нашла слова и махнула рукой.

— А кого?

— А ту, в синем платье, — сказала она тихо. — Которая на танцы ходила.

VII

И он снял её так.

Он снимал, как она сидит на полу, и грудь её тяжело лежит на руках, и соски уже не напряжены, а мягкие, спокойные, и она сама на них смотрит — без стыда, с тихим удивлением, будто забыла, что они у неё есть. Он снимал, как она поднимает руки и собирает волосы — медленно, не спеша, — и под мышками у неё тёмные впадинки, и это было не некрасиво, а живо. Он снимал, как она встаёт, — тяжело, с усилием, упираясь рукой в пол, — и как она идёт к окну, и бёдра её качаются, и живот мягко колыхнется в такт шагам, и она уже не втягивает его, а несёт, как несут ребёнка.

А потом она остановилась у окна, спиной к нему, и помолчала, и сказала:

— А можно я трусы сниму?

— Можно.

Она сняла их — неловко, согнувшись, — и выпрямилась, и он увидел её всю: полную, широкую, с ямочками на пояснице, с тяжёлыми бёдрами, с тем самым живым, аккуратным треугольником, и она не прикрылась, а стояла и смотрела в окно, на двор, где гуляли чужие дети, и на лице у неё было

спокойствие — не то, которое от усталости, а то, которое от мира с собой.

— Господи, — сказала она тихо. — Я голая стою у окна. Меня же соседи увидят.

— Не увидят.

— А если увидят?

— Пусть смотрят, — сказал он.

Она засмеялась — громко, счастливо, — и обернулась, и на глазах у неё были слёзы, но она не плакала, а смеялась, и это было лучше любого плача.

VIII

Потом она сидела на диване, накинув на плечи халат — старый, махровый, с вытянутыми локтями, — и пила чай, и в комнате снова пахло борщом, но теперь этот запах не раздражал, а был частью её, как румянец и как ямочки на локтях.

— Знаете, — сказала она, — я сейчас пойду в школу за младшим. И буду стоять там, среди других мам, и никто не будет знать, что я полчаса назад стояла голая у окна. — Она засмеялась. — И это будет моя тайна. У меня давно не было тайн. Только борщ.

— Пришлю фотографии через неделю.

— Все?

— Все.

Она задумалась.

— А те, где я смеюсь, — пришлёте?

— Пришлю.

— И где я... — она показала руками на грудь, — ...ну, вы поняли.

— И эти пришлю.

Она кивнула. Потом встала, и он увидел, что она уже не сутулится, а держит спину, и в этом не было ничего от солдата, а было что-то от той, в синем платье.

— Спасибо, — сказала она и вдруг обняла его — крепко, по-бабьи, прижавшись щекой к плечу. От неё пахло чаем и тёплой кожей. — Вы не думайте, я не плачу. Я просто... давно меня никто не видел.

Она проводила его до двери, и в прихожей он наступил на кота без хвоста, и она засмеялась, и крикнула вслед: «Осторожно, там куртка!», и он вышел на лестничную площадку, и дверь за ним закрылась.

А в комнате ещё пахло борщом и стиральным порошком, и на диване лежал плюшевый заяц с оторванным ухом, и на полу остался след от её босой ноги — маленький, тёплый, в пыли.

Он не стал его вытирать.

Коса

I

Баня стояла на краю деревни, у реки, и топилась с утра. Когда он подъехал, из трубы уже шёл дым — густой, белый, с запахом берёзы и дёгтя, — и на крыльце сидела девушка в спортивных штанах и растянутом свитере, с косой через плечо.

Коса была необыкновенная. Не тонкая, не крысиная — тяжёлая, толстая, тугая, ниже пояса, и в ней, как в канате, была видна каждая прядь. Она лежала на её плече, как живая, и кончик её, перехваченный простой резинкой, спускался до самого бедра.

— Долго вы, — сказала девушка вместо приветствия. — Я тут полчаса сижу. Уже замёрзла.

— Пробки.

— Пробки у вас в городе. — Она усмехнулась. — У нас тут нет пробок. У нас тут дороги нет.

Ей было двадцать пять, и она была из тех, кого в деревне называют «спортивная» — не в смысле фигуры, а в смысле жизни. У неё были крепкие, ладные плечи, узкие бёдра, сильные ноги, привыкшие к работе и к ходьбе по бездоро-

жью. Грудь небольшая, аккуратная, как у девчонки, которая много плавает и мало думает о том, как она выглядит в купальнике. Живот плоский, с обозначенными мышцами, но не твёрдый, а живой, тёплый, с той естественной мягкостью, которая остаётся у женщин даже при самом сухом теле. И руки — сильные, с коротко стриженными ногтями, с заусенцами, с мозолями на ладонях. Руки, которые знают, что такое топор и что такое вилы.

На ней не было ни грамма косметики. Ни одной татуировки. Кожа — чистая, светлая, чуть тронутая загаром, с россыпью мелких веснушек на носу и на плечах, и он сразу отметил про себя, что она из тех, кто не прячет естественность, а просто о ней не думает. Под свитером, когда она встала, угадывалась та самая простая, аккуратная, живая линия внизу живота — ничего выбритого, ничего придуманного.

— Ну что, — сказала она, — пойдёмте. Я баню с утра топлю.

Она говорила резко, короткими фразами, будто рубила. И смотрела прямо, не отводя глаз, — так смотрят люди, которые привыкли, что их не обманывают.

II

Внутри бани было жарко и темно, и пар стоял такой густой, что первые минуты он ничего не видел, кроме её спины впереди — сильной, прямой, с косой, которая качалась

в такт шагам.

— Раздевайтесь, — сказала она, не оборачиваясь. — Тут полоч. Там веники. Вода в баке. Полотенца на гвозде.

— А вы?

— А я потом. — Она усмехнулась. — Я сначала посмотрю, как вы паритесь. Городские не умеют.

Она сама разделась быстро, по-деревенски, без стеснения — скинула свитер, штаны, бельё, — и он увидел её в тусклом свете, среди пара, и первое, что бросилось в глаза, — это коса. Она осталась, когда всё остальное было снято. Коса лежала на её спине, как змея, тяжёлая, тёмно-русая, почти до самых ягодиц, и от этого её тело — сухое, спортивное, почти мальчишеское — вдруг стало до боли женским. Контраст был такой резкий, что он замер.

— Что? — спросила она. — Устались.

— Коса.

— А что коса? — Она пожала плечами. — Коса как коса. Мать плела, я плела. С детства. — Она перекинула её на грудь, и коса легла на маленькую грудь, прикрыв сосок, и это было так просто и так нечаянно красиво, что он потянулся за камерой. — Вы что, снимать будете? В бане?

— А вы думали, я сюда париться приехал?

Она засмеялась — коротко, резко, — и махнула рукой.

— Ну снимайте. Только я вам сразу скажу: я не модель. Я вон, — она кивнула на своё тело, — как есть. Ничего не приклеено, ничего не подтянуто.

— Это и хорошо.

— Это хорошо для меня. А для вас — не знаю. — Она посмотрела на него исподлобья. — Городские девчонки вон какие. Ухоженные. Ногти, брови, вот это всё. А я — коса да мозоли.

III

Первые кадры она держалась скованно, но не так, как Вера, — не в узде, а наоборот, слишком прямо, слишком вызывающе, будто говорила всем телом: «Ну да, я такая. И что?»

— Расслабьтесь, — сказал он.

— Я расслаблена.

— Вы стоите, как будто сейчас драться будете.

Она хмыкнула.

— А может, и буду.

Он опустил камеру.

— Расскажите, — сказал он. — Почему вы пришли?

Она помолчала. Пар клубился вокруг, и в нём её лицо казалось мягче, чем было на самом деле.

— Мать говорит: «Полька, ты как мужик». — Она сказала это ровно, без обиды, как говорят о том, что давно привычно. — Я сено ворочу, я дрова колю, я забор поставила сама, когда старый упал. У меня руки — вон. — Она показала ладони. — Мне говорят: «Ты не женщина, ты трактор». И я привыкла. А потом приехала в город, в институт, и там

девчонки — вон какие. С ноготочками. С бровками. Ходят, как будто не по земле, а по подиуму. И я рядом с ними — как лошадь в посудной лавке. — Она усмехнулась. — Ну, я и решила: раз лошадь, значит, лошадь. Буду косить, колоть, таскать. А внутри-то... — Она запнулась.

— Что внутри?

— А внутри, — сказала она тихо, — внутри я тоже хочу, чтобы на меня смотрели. Как на девчонку. Не как на трактор.

Она замолчала, и в бане стало слышно, как потрескивают поленья в печи и как капает вода из крана.

— Вот, — сказала она. — Выговорилась. Теперь снимайте, пока я не передумала.

IV

И постепенно она начала оттаивать. Сначала — с самоиронией, как Ольга, но по-своему, жёстче, злее.

— Ну, — сказала она, повернувшись в профиль, — как вам моя фигура? Как у мальчика, да?

— Не как у мальчика.

— Как у мальчика, — упрямо сказала она. — У меня груди нет. Вон, — она провела ладонью по груди, и сосок под её пальцами напрягся, — две пуговицы.

— Это не две пуговицы.

— А что?

— Это грудь. Маленькая. Женская.

Она посмотрела на него — недоверчиво, — и вдруг отвернулась, и он увидел, как у неё покраснели уши.

— Ладно, — сказала она. — Снимайте. Только не врите.

Он снимал её в пару, среди клубов, которые поднимались от полка, и она стояла в этих клубах, как в тумане, и коса её висела вдоль спины, и капельки воды блестели на её плечах, на груди, на животе. Он снимал, как она садится на полок — легко, по-спортивному, — и как вытягивает ноги, и как коса падает ей на колени, тяжёлая, мокрая от пара.

— Она мешает, — сказала Полина. — Может, расплести?

— Нет. Не надо.

— Почему?

— Потому что она — это вы.

Она задумалась. Потом кивнула.

— Ну, может, и так. — Она перекинула косу на плечо и посмотрела на неё, как на что-то давно знакомое, но вдруг увиденное другими глазами. — Мне её мать в первый класс заплела. С тех пор и плету. Я её ни разу не стригла. Ни разу. Была бы городская — уже бы, наверное, обрезала. А я — нет. — Она усмехнулась. — Я, видимо, всё-таки не совсем трактор.

V

Она расплела косу сама, и это было неожиданно красиво. Она потянула за резинку, и та соскочила, и коса нача-

ла распускаться — медленно, тяжело, как распускается туго скрученная верёвка. Волосы посыпались на плечи, на спину, на грудь, и в пару они стали ещё гуще, ещё темнее, и их было так много, что они закрыли её всю, до бёдер.

— Ох, — сказала она. — Тяжело. Я забыла, как это — не с косой.

Она встряхнула головой, и волосы взметнулись и упали, и он нажал на затвор, и на этом кадре было только облако волос и в нём — её лицо, мокрое, раскрасневшееся, счастливое и испуганное одновременно.

— Вот, — сказала она. — Вот это — главный кадр. Правда?

— Правда.

Она засмеялась — впервые легко, без резкости.

— Слушайте, — сказала она, — а ведь я думала, что вы меня заставите... ну, позировать. Как в журнале. А вы просто снимаете, как я есть. И это, оказывается, лучше.

Она повернулась к нему, и волосы её качнулись, и грудь её была уже не «две пуговицы», а просто её грудь, маленькая, нежная, с тёмными сосками, и живот её дышал, и руки её уже не сжимались в кулаки, а лежали спокойно.

— Можно, — сказала она. — Можно я вас попрошу?

— Попросите.

— Снимите меня... — она замялась, — ...с распущенными. Чтобы я смотрела и видела не трактор, а... — она не нашла слова, — ...а Полину.

VI

И он снял её так.

Он снимал, как она стоит в пару, голая, с распущенными волосами, и пар окутывает её, и сквозь него видны её плечи, её маленькая грудь, её живот, её бёдра, и волосы, волосы, волосы — тёмные, мокрые, тяжёлые, они липли к коже и падали на лицо, и она отводила их рукой, и это было так чувственно, что он сам забывал дышать.

Он снимал, как она садится на полок и вытягивается, и коса уже не мешает, потому что нет косы, а есть только волосы, рассыпавшиеся по дереву, как вода.

Он снимал, как она поворачивается к нему спиной, и волосы закрывают её всю, до самой поясницы, и в этой спине, в этой линии от шеи до бёдер, было больше женственности, чем в иной обложке.

А потом она выпрямилась, и волосы упали ей на грудь, и она посмотрела на него — прямо, открыто, без самоиронии и без резкости, — и в глазах у неё было то, чего он так ждал: тихая, спокойная чувственность. Не вызов, не кокетство. А просто — женщина, которая наконец себя увидела.

— Вот, — сказала она тихо. — Вот я.

VII

Потом она сидела на крыльце, закутавшись в льняное полотенце, и волосы её сохли на солнце, и от них шёл пар, и пахло берёзовым дымом и рекой.

— Знаете, — сказала она, — я сейчас пойду в деревню, и бабы спросят: «Полька, где была?» А я скажу: «В бане». И это будет правда. — Она засмеялась. — А то, что я там голая стояла перед мужиком с камерой, — это будет моя тайна. У меня давно не было тайн. У меня всё на виду.

— Пришлю фотографии.

— Все?

— Все.

Она помолчала. Потом посмотрела на него — долго, внимательно.

— А ту, где я с распущенными, — пришлёте?

— Пришлю.

— И где я смеюсь?

— И где смеётесь.

Она кивнула. Потом встала, и полотенце скользнуло, и она придержала его рукой, и в этом движении не было ни капли стеснения — только спокойствие.

— Спасибо, — сказала она. — Вы не думайте, я не плачу. Я просто... — она поискала слово, — ...я просто первый раз за много лет почувствовала себя девчонкой. Не трактором.

Девчонкой.

Она пошла к дому — босиком, по траве, — и волосы её сохли на спине, и коса, которую она снова заплела, качалась в такт шагам, тяжёлая, тёмная, живая.

А в бане ещё стоял пар, и на полке остался мокрый след от её тела — маленький, тёплый, — и он не стал его вытирать.

Сорок

I

Она пришла раньше на полчаса и всё это время простояла на улице, у витрины соседнего магазина, делая вид, что рассматривает обувь. Он видел её в окно — женщину в светло-бежевом плаще, с сумкой на сгибе локтя, с аккуратной, неброской причёской, — и по тому, как она стояла, как поправляла воротник, как проверяла телефон, было понятно: она репетирует.

Когда она наконец позвонила в дверь, лицо у неё было спокойное, вежливое, чуть отстранённое — лицо женщины, которая умеет держать себя в руках в любой ситуации.

— Здравствуйте, — сказала она. — Елена. Я вам писала.

Ей было сорок, и она была из тех женщин, про которых говорят «ухаженная» — и в этом слове нет ни насмешки, ни комплимента, а только точность. У неё был мягкий, дорогой плащ, туфли на невысоком каблуке, сумка из хорошей кожи, маникюр цвета чайной розы, лёгкий аромат — что-то цветочное, сдержанное, дорогое. Волосы — каштановые, с мягкой волной, — она недавно красила, но у висков пробивалась седина, и она её не закрашивала до конца, и это было

единственное, что в ней было не «правильно», а живо.

На ней не было ни одной татуировки. Кожа — светлая, ухоженная, с теми мелкими морщинками у глаз и на шее, которые не прячутся ни под каким кремом и которые он всегда любил снимать больше всего.

— Проходите, — сказал он.

Она прошла — не разуваясь, аккуратно, будто боялась запачкать пол, — и остановилась посреди студии, оглядываясь. Студия была большая, пустая, с белым фоном и огромным окном во всю стену, и в этом окне стоял мягкий, ровный свет — тот самый, за которым он и снимал здесь уже пять лет.

— Красиво, — сказала она. — Как в кино.

— Садитесь. Вон там, на пуф.

Она села — колени вместе, сумка на коленях, спина прямая. И он вдруг увидел, как она напряжена: как у неё дрожит жилка на шее, как побелели костяшки пальцев, которыми она держала сумку.

— Я, честно говоря, не знаю, зачем я пришла, — сказала она с той же вежливой улыбкой. — Мне сорок лет. Я, наверное, уже не в том возрасте, чтобы... — она сделала неопределённый жест рукой.

— В каком возрасте? — спросил он.

— Ну... — она замялась. — Чтобы раздеваться перед фотографом.

— Это не возраст, — сказал он. — Это страх.

Улыбка на её лице дрогнула.

II

Плащ она сняла сама, аккуратно, повесила на спинку стула. Под плащом было платье — тёмно-синее, простое, дорогое, с длинным рукавом, — и оно сидело на ней так, как сидят вещи, сшитые на заказ: не подчёркивая, а обозначая.

Она была красива той красотой, которую замечают не сразу, а потом уже не могут не замечать. У неё была фигура «песочные часы» — та самая, которую природа даёт редко и которая с возрастом становится только выразительнее. Узкая талия, широкие бёдра, красивая, полная грудь, которая не обвисла, а чуть отяжелела, как отяжелевает всё хорошее с годами. Живот мягкий, с небольшой складочкой внизу, — и она, наверное, ненавидела эту складочку, боролась с ней, качала пресс, сидела на диетах, но она была, и он знал, что именно она будет главным кадром.

Она разделась медленно, как раздеваются женщины, которые делают это не для кого-то, а по необходимости: сначала платье, потом колготки, потом бельё — всё аккуратно, всё сложено, всё на стуле. И когда она осталась наконец голая, то не прикрылась, а просто стала — и он увидел, как она боится.

Она боялась не его. Она боялась себя.

— Вот, — сказала она тихо. — Смотрите.

III

Первые кадры были мёртвые, как всегда бывает, когда человек стоит и ждёт приговора. Она позировала так, как позируют для семейного альбома: чуть вполоборота, рука на бедре, подбородок приподнят, улыбка вежливая.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.